

**О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия “лингвистического имяславия”\***

**А.В. Вдовиченко**

В статье рассматривается утилитарность процедуры выделения лингвистического знака, и связанная с этим несамотождественность знака. В вербальной коммуникации понимаются действия коммуниканта, а не слова (звуки, буквы и пр.), соответственно, “единицы измерения” назначаются и интерпретируются в комплексной системе координат, определяемой когнитивным состоянием участников (адресанта, адресата, вторичного интерпретанта). “Лингвистическим имяславием” автор предлагает считать ошибочную исследовательскую установку, согласно которой у автономного смысла (значения) есть свой автономный знак, и, наоборот, у автономного знака – свое присущее ему значение. В статье констатируются причины и следствия онтологической трактовки знака.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** знак, знако-значенческий подход, коммуникативная парадигма, имяславие.

**ВДОВИЧЕНКО Андрей Викторович** – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретической лингвистики Института языкознания РАН, профессор кафедры теории и истории языка ПСТГУ.

Цитирование: *Вдовиченко А.В.* О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия “лингвистического имяславия” // *Вопросы философии.* 2016. № 6. С. 164–175.

*Voprosy Filosofii. 2016. Vol. 6. P. 164–175.*

**Non-self-identity of a Linguistic Sign. Causes and Effects of the “Linguistic Onomatodoxia”**

**Andrey V. Vdovichenko**

In the article the utilitarian approach to allocation of a linguistic sign is considered, that leads to recognition of non-self-identity of a linguistic sign. During the communicative act communicant's actions are understood, respectively, elements and units are appointed and interpreted in the complex system of coordinates determined by a cognitive condition of participants (the sender, the addressee, a secondary interpretant). The author suggests to consider “linguistic onomatodoxia” to be a research position according to which the autonomous sense (value) corresponds to the autonomous sign, and vice versa. The author states an inaccuracy of ontological interpretation of a sign.

**KEY WORDS:** sign, utilitarian approach to setting of units, communicative paradigm, onomatodoxia.

**VDOVICHENKO Andrey V.** – DSc in Philology, leading researcher, Institute of Linguistics, Russian Academy of Science; professor, department of theory and history of language, Orthodox St Tikhon University for Humanities.

an1vdo@mail.ru

Citation: *Vdovichenko A.V.* Non-self-identity of a Linguistic Sign. Causes and Effects of the “Linguistic Onomatodoxia” // *Voprosy Filosofii.* 2016. Vol. 6. P. 164–175.

---

\* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований “Атомизм и мировая культура”, грант № 13-03-00547, а также проекта проведения научных исследований “Лингвистические практики религиозных сообществ: эллинистический иудаизм, раннее христианство, русскоязычное православие”, грант № 15-04-00560. The project is supported by RFH, grant No 13-03-00547, “Atomism and World Culture”; grant No 15-04-00560.

© Вдовиченко А.В., 2016 г.

# О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия “лингвистического имяславия”

А.В. ВДОВИЧЕНКО

Попытки вычленения единиц (в том числе не делимых далее частиц, элементов), которые было бы уместно мыслить в качестве обособленных слагаемых какой-то общей суммы (явления, предмета, вещества), часто оправдываются надеждой обнаружить присутствующие этим единицам свойства, которые задают собой составленное из них целое. Так, парк оказывается состоящим из листовенных деревьев, каждое из которых является источником кислорода для города, и чем больше в парке этих продуцирующих кислород единиц, тем лучше дышится горожанам.

Однако сам объект, подвергаемый ан-атомизации, а также элементарные единицы, обнаруживаемые в его составе, не вызывают сомнений лишь до тех пор, пока рефлексия не коснулась самой процедуры выделения объекта, критериев выделения составляющих его единиц, а также целеполагания самой процедуры анатомизации. Даже не задаваясь неразрешимым вопросом, что такое парк, само это “подлежащее” можно разбить не только на деревья, но и на совсем другие “атомы”: квадратные метры, гектары, футы, сектора, крылья, зоны, полезные площади, человекометры и пр. В зависимости от того, считает ли анатомист парк геометрической областью или зеленым массивом, а также в зависимости от целей дробления, выделяемые атомы принимают форму, которая стремится быть оптимальной для решения задач, поставленных практиком и/или теоретиком. Ясно, что процесс приспособления единиц к объектам и объектов к единицам носит утилитарный характер. Из каких “атомов” состоит парк, невозможно определить до тех пор, пока кем-то и для чего-то не назначена цель деления.

Соответственно, расчет на то, что сами элементы (единицы) сообщат что-то об объекте анатомизации, пожалуй, обнаруживает неправильную методологическую установку. Скорее, следует говорить о том, какие единицы будут удобнее для решения поставленных задач и, собственно, как решать эти задачи с использованием назначенных единиц. Так, парк может оставаться “монадой”, не состоящей из единиц, до тех пор, пока не потребуются, скажем, установить площадь, занимаемую этим объектом. Для исполнения этой задачи будут привлечены квадратные метры в России или квадратные ярды и футы в Великобритании. Онтологический смысл метров явно не следует драматизировать ввиду того, что в сфере онтологии метры непременно вступят в конфликт с ярдами, из которых парк также очевидным образом может состоять.

Похожим образом лингвистический знак представляет собой результат процедуры, в ходе которой делению на элементы (“атомы”) подвергается вербальная (“телесная”) часть коммуникативного действия. Единицы, “нарезанные” при разбиении его вербальной составляющей, не могут иметь автономного “онтологического” значения, поскольку значение действия (то есть помысленный коммуникантом иллокутивный эффект) существует независимо от слов, жестов, рисунков и пр., как факт сознания и интенция к действию. Так, в желании сообщить об изменениях погоды нет ничего словесного, жестового, графичного, как и в желании открыть окно, предупредить об опасности, сообщить какие-то “факты” и пр. Внутренний когнитивный процесс приобретает сколько-нибудь осязаемые формы после того, как коммуникант принял решение произвести воздействие на постороннее сознание (или на иное состояние своего собственного сознания, например, представив его в будущем). Соответственно, в конкретной ситуации коммуникации желание сообщить о погоде выливается в изображение условных рисунков и цифр, или в жестикуляцию, или в

произнесение соответствующих вербальных клише, которые к тому же могут приобретать не только фонетическую, но и графическую форму, и пр. Порожденная таким образом телесная часть коммуникативного действия вполне произвольно, в зависимости от целей предпринимаемой анатомизации, разбивается на единицы: “Здесь почему-то на картинке и облако, и солнце, и дождь, ничего не понятно”, “А что ты на небо показываешь? Есть надежда на просветление?”, «Ничего себе [“ясно”], в крайнем случае [“ничего не ясно”]», “Слово [дождь] пишется не так: на конце не [шь], а [ждь]”, “Ты здесь палочку у буквы [Д] очень странно нарисовал, получилось [А]”, и пр. Ясно, что в приведенных примерах (если, конечно, представить их себе как эпизоды актуальной коммуникации) единицами для говорящего выступают, соответственно, нарисованные предметы, указательный жест, слово, фонетический и графический элемент слова, графический элемент буквы. При этом в каждом из случаев имеет место процесс приспособления элемента к целому, а целого к элементу, осуществляемый индивидуальным сознанием, которое видит перед собой определенную цель анатомизации и владеет соответствующим инструментариумом.

Оставляя в стороне жесты и картинки и рассматривая только вербальные знаки, наблюдатель убеждается в том, что “атом” словесной коммуникации в своем точном и последнем выражении ускользает от измерительной процедуры вследствие все той же произвольности назначения критериев. Задаваясь вопросом, является ли знаком звук, буква, палочка или завиток графемы, морфема, иероглиф, слово, сочетание слов, предложение, устный или написанный текст и пр., наблюдатель, доверившийся спонтанной концепции знак – значение, приходит к выводу, что *любая* из этих предметных единиц может считаться знаком, поскольку как будто бы означает нечто, как, например, в предложении [куда ты идешь]. Так, во-первых, сказанное понятно, во-вторых, состоит из дискретных единиц (которые можно даже изобразить), в-третьих, любая попытка изменить звуки, слова, их сочетания, целое предложение как будто приводит к изменению общей смысловой суммы.

Однако именно здесь следует констатировать торжество коммуникативной концепции вербального материала, ее полное и безоговорочное преимущество перед “знако-значенческой” концепцией в моделировании естественного вербального процесса, поскольку [куда ты идешь] в действительности *не означает ничего, если не рассматривается в составе коммуникативной синтагмы* (конкретного коммуникативного действия): сказанные сами по себе слова не имеют смысла ни по отдельности, ни в совокупности; представляют собой набор неопределенных в своих границах налагающихся друг на друга единиц; возможные оппозиции элементов не выстраиваются в общей аморфной бессмысленности, являются всецело произвольными (знак может оппозиционировать другому знаку, сочетанию знаков, отступствию знаков, при этом множества “участников” оппозиций не ограничены ничем).

Иными словами, если неизвестно, кто, зачем, в отношении кого, в каких мыслимых условиях и пр. произволил действие с использованием данных вербальных клише, то в самих звуках, буквах, словах, и даже целом тексте смыслообразование отсутствует. То, ради чего говорящий (пишущий) мог потрудиться произнести [куда ты идешь], не может интерпретироваться в тождестве, поскольку коммуникативные параметры смыслообразования всегда мыслимы индивидуальным сознанием, которое определяет адресанта и адресата, объекты внимания и обсуждения, а также отношения между ними, позицию в возможной интеракции, обстоятельства совершения действия, фрейм отношений между коммуникантами и пр. Мнимая “понятность” слов [куда ты идешь] у русскоговорящего наблюдателя возникает только оттого, что данные вербальные клише уже были когда-то восприняты им в актуальных условиях.

Пребывание вербальных клише в мыслимом пространстве коммуникативного действия представляет собой *естественную форму существования вербального материала*, и поэтому является обязательной составляющей его интерпретации. Подлинное знание “языка” состоит во владении способами вербального действия в сегментах коммуникативного пространства – от обыденных ([мне чашку кофе, пожалуйста]) до сугубо специфических (например, [не бери этот мусор на хаях], [здесь ввернем преюдицию]). Знание коммуникативной типологии приобретается носителем “языка” с детства (практически) или путем различных дидактических приемов (теоретико-практически).

Иными словами, в типовой ситуации произносится фонетический комплекс, который обычно вызывает в сознании участников коммуникативного сообщества изменения, мыслимые говорящим, как, например, в случае, когда он принимает решение указать адресату на себя. Эта интенция (привлечь внимание к себе) универсальна для представителей различных культур и внутрикультурных сообществ. Поэтому в различных “языках” непременно присутствует вербальное клише, используемое в таких случаях ([я], [I], [ich], [je] и пр.). Переводить такие “слова” не составляет труда ввиду того, что рамочное для этих слов коммуникативное действие (передачей которого в тождестве озабочен переводчик) повсеместно распространено, фактически представляет собой “коммуникативную универсалию”. Вследствие тождества коммуникативных синтагм совершенно различные слова имеют одинаковое “значение”. Усвоение “языка” как раз и состоит в овладении типологическими дискурсивными единицами коммуникации.

Ту же “историю” наблюдатель застаёт и в других случаях говорения и распознавания слов, каждое из которых само по себе известно говорящему как элемент мыслимой ситуации действия в типологических условиях и которое включено в состав заново актуальной, необходимой ему коммуникативной синтагмы.

В этой вполне очевидной (и даже банальной) коммуникативной перспективе вербальный материал обнаруживает свою *вторичность и несамодостаточность*, что, в свою очередь, имеет значимые последствия для исследовательских процедур, вовлекающих “слово” и “язык” в поле рефлексии и аргументации.

Рассматривая проблему лингвистического “знака” в атомистическом ракурсе (с последующей проекцией на проблему “лингвистического имяславия”), нужно отметить, как минимум, три следствия коммуникативного подхода.

1. При использовании вербальных “единиц” в *естественных* (повсеместных, универсальных для всех культурных и внутрикультурных сообществ) условиях *производятся и понимаются целостные коммуникативные действия, а не отдельные слова* (тем более – не звуки, буквы, иероглифы и пр.). Адекватное замыслу коммуникативное действие составляет целевую точку смыслообразования, к которой стремится процесс генерирования и интерпретирования естественного говорения (написания). Поскольку смыслообразование в вербальном процессе есть его целевая причина (то, чего добивается говорящий и ради чего, собственно, он порождает речь), и поскольку оно реализуется только во внешнем действии, то объектом науки о “языке” – осознанно или неосознанно со стороны исследователя – является *дискурс*, то есть *мыслимая ситуация коммуникативного действия*, которая осознаётся комплексно и объемно и в пространстве которой говорящий и затем интерпретант выделяет объекты (дотоле не существовавшие *здесь и сейчас*, не выделенные из гомогенной панорамы, прежде не оформленные в “объект” и не развернутые в направлении данного коммуникативного действия), назначает связи, фиксирует внимание адресатов, подбирает вербальные клише, соизмеряя их с типологическими условиями их использования и возможными особенностями восприятия их адресатом, и пр. Без решения произвести воздействие субъект когнитивного процесса не утруждает себя подбором вербальных клише и остается в тайне внутреннего рассуждения. Вербальный материал вне мыслимых коммуникантом условий коммуникативного действия (вне дискурса) не обладает потенциальными к смыслообразованию и превращается (в случае его обособленного изучения) в *искусственный объект*, возникший вследствие укорененной в традиции методологической ошибки. Последняя как раз и состоит в том, что говорящий так или иначе исключается из процесса смыслообразования, а автономные единицы, такие как звуки-атомы, слова-атомы, наделяются неотъемлемыми свойствами, сами формируют общую сумму высказывания.

2. *Слово, изъятое из коммуникативной синтагмы* (тем более – звук, букву и пр.), *невозможно рассматривать как единицу смыслообразования*, ввиду того что у самой единицы нет основания, на котором зиждется здание смысла: в “автономном” слове нет личного когнитивного начала, источника мысли, отправной и конечной точки смыслообразования, поскольку искусственно изолированный “атом” не вовлечен в личное коммуникативное действие. Напротив, в естественных условиях любое слово, входя в состав коммуникативного действия, отсылает к *когнитивному состоянию коммуниканта*, которое понимается

в ходе коммуникативной интеракции. Как нельзя понять камень или звездное небо (ввиду чуждости и неясности “внутренних мотиваций” собственного поведения этих “объектов”), так нельзя понять слово, пребывающее в состоянии автономного покоя, не вовлеченное в динамику личного коммуникативного действия. Как звездное небо и камень всего лишь “вписываются” в созданную коммуникантом схему с назначенными им функциями и получают, таким образом, “понимание” в рамках назначенной схемы, так слово не может быть понято само по себе, вне созданного коммуникантом пространства действия. Во всех случаях пониматься будет не поведение выделенных в сознании объектов (звездное небо, камень, слово), а сама процедура вписывания, практическая, развернутая к субъекту когниции, индивидуально мыслимая *схема моделирования реальности и действия в ней*. Порождение и интерпретация коммуникативного действия (не путать с внезапным внутренним мыслительным процессом) всегда обращены к установлению тождества когнитивных процедур и оценке их эффективности, а не к “вещам в себе”.

Так, “элементарную” часть актуального высказывания (слово [“попытки”], см. начало статьи), изъятую из коммуникативной синтагмы (тем более – звук или букву этого слова), невозможно рассматривать как “атом” смыслообразования, ввиду неопределенности его свойств. “Атом” не может быть разделенным и неопределенным в себе, указывая одновременно на единственное и множественное число, одновременно на именительный и родительный падеж, к тому же он не может фонетически совпадать с формой [попытке], и [по пытке] и пр. В этой мнимой “единице”, взятой независимо от сознания автора высказывания, *собственное* значение отсутствует. Для “иностранца”, не знающего “русского языка”, данное вербальное клише вовсе представляет собой “пустой звук” ввиду отсутствия в его сознании хоть какой-то типологии коммуникативных действий с вовлечением данного фонетического комплекса. Заполнить это пустое место (бессмысленное само по себе [“попытки”]) способен только говорящий (пишущий), который производит коммуникативное действие, а также тот, кто пытается интерпретировать его, говорящего, когнитивное состояние.

Для внутреннего размышления субъекту когниции не нужны “телесные” знаки. Предметы, явления, связи, а также цели и перспективы своего участия в ситуации он “видит” без участия знаков. Однако для воздействия на внешнего мыслимого адресата говорящему приходится прибегать к их посредству, по мере необходимости и желания совершить коммуникативное действие. При этом слова произносятся им не для того, чтобы продемонстрировать знание связанной с этим фонетическим элементом коммуникативной типологии (например, “русского языка”), а для нового, актуального для него воздействия на мыслимое коммуникативное пространство с выделенными в нем адресатами, объектами, условиями и возможными способами такого воздействия. Само по себе слово, никем и ни к кому не обращенное, не может быть действительным, на что-то указывать или что-то означать. В отличие от бессодержательности слова, содержание коммуникативного действия (то есть помысленная говорящим “иллюквативная сила” высказывания, или личная интенция действия) может вызвать к жизни различные знаковые формы и оцениваться самим говорящим в зависимости от того, насколько эффективной будет данная форма. Так, вместо приведенного слова [“попытки”] в составе данного действия можно представить употребление другого слова, например, [“усилия”], или совсем другой фразы, например, [“Поиски предельных, далее не расчленимых элементов” и т.д.], или слова другого “языка”, в зависимости от определяемых параметров замысленного автором коммуникативного действия. Понятно, что без авторского замысла вся конструкция коммуникативного действия, в которую входит [“попытки”], не может возникнуть и иметь какой-то собственный, не авторский, замысел и значение.

3. Наконец, *язык*, как система упорядоченных единиц (слов, букв, звуков, правил, составляющих специфическую морфологию, семантику, синтаксис и пр.), на фоне естественного коммуникативного процесса представляет собой, скорее, *мнемотехническую схему*, имеющую сугубо утилитарное значение для постороннего (не вовлеченного в языковой коллектив) наблюдателя, и совершенно не востребованную со стороны носителя-“информанта”. Знатоку родного “языка” последний известен как *коммуникативная типология*,

которая постепенно усваивается им с детства и постоянно расширяется в направлении различных сегментов осознаваемой реальности. Непосредственный участник языкового коллектива, даже если он получил специальные филологические знания, позволяющие ему отличить именительный падеж от родительного, в живой коммуникативной практике никогда не пользуется этим знанием. Он не играет в игру “построй высказывания по грамматическим правилам”, а делает гораздо более сложную и важную работу, осуществляя влияние на мыслимого адресата – с привлечением или без привлечения слов – в рамках параметрированных ситуаций. Наоборот, грамматические правила впоследствии создаются для тех, кто усвоил “по умолчанию” иную (“инокультурную”, “иностранную”) типологию вербальных действий и по каким-то причинам желает овладеть чужой типологией. В таком случае специалистами-грамматистами предлагается описательная схема (“грамматика языка”), позволяющая спроецировать собственное знание “родных” коммуникативных синтагм на инокультурное знание (“иностранное знание”). Без обнаружения невербальных оснований тождества (например, общего “несловесного” желания китайца и русского открыть окно) установление таких проекций было бы в принципе невозможно. При этом понимание “иностранного языка” в любом случае будет пониманием конкретных коммуникативных действий конкретных говорящих, а не “общего поля” мысли и чувства, выраженных в “языке”.

Язык предстает мнемотехнической схемой особенно отчетливо на фоне того, что он принципиально безличен, а следовательно, лишен источника мысли, чувства и вообще всякого содержания. Так, “язык” (“грамматика и словарь”) не может дать ответа на вопрос, имеет ли Земля форму шара. “Мысль” как утверждение или отрицание не может присутствовать в “языке” (грамматике и словаре) вне коммуниканта, вследствие чего как утверждение, так и отрицание могут быть сказаны и интерпретированы в зависимости от параметров, определяемых коммуникантом, в том числе целесообразностью и необходимостью данного коммуникативного действия. Поэтому и то, и другое будет присутствовать в “языке”: [Земля имеет форму шара], [Земля не имеет формы шара]. Ясность в этот вопрос внесет только то, что Аристотель определил как одну из своих категорий – категория отношения (греч. “*pros ti*”). Однако отношение и есть то, что вводится субъектом когнитивного процесса, а не “языком”. Поэтому, благодаря фактору индивидуального сознания, вопреки бессмысленности “языка”, коммуникативные действия с участием вербального канала все же производятся и интерпретируются в актуальных коммуникативных синтагмах (“сказать можно что угодно, было бы кому и зачем”).

Отметить бессмысленность и бессодержательность “языка” тем более важно, что зачастую в рассуждениях о слове и смысле этот концепт (“язык”) выступает некой формой одновременно мышления и говорения, которая содержит в своих внешних границах и внутренних ячейках, тем самым упорядочивая и детерминируя, различные элементы, включая “слова-значения” (например, хайдеггеровское “Язык есть дом Бытия”). Необходимо иметь в виду меру условности этой мнемотехнической схемы и не рассчитывать на точность и эффективность системно-орудийно-биологической метафоры для достижения реалистичных результатов исследования “языковых” данных. Так, невозможно изучать вспомогательную мнемотехническую схему и ее элементы, принимая их за свидетельства реальности, или автономные “знаки реальности”. Если реальность естественного вербального материала – это свободные осмысленные действия коммуникантов (а другие вербальные факты просто отсутствуют), то вне личных коммуникативных действий у элементов и всей “системы” нет и не может быть “чтойности” и самотождественности.

“Лингвистическим имяславием” можно считать “знако-значенческую” исследовательскую установку, согласно которой у автономного смысла (значения) есть свой автономный знак. Интенция находить “атомы” вербального процесса подминает под себя холистическую (“когнитивно-синтаксическую”, “активно-творческую”) исследовательскую перспективу, и таким образом, то, что обнаруживается в результате (а это некий “телесный”, буквенный или словесный, комплекс), приобретает не условное, а онтологическое значение: единицы

существуют; они не утилитарны (назначаемы по мере удобства оперирования с коммуникативной реальностью), а бытийственны.

“Знако-значенческая” установка свойственна как 1) одноименному направлению в греческой и русской философско-религиозных традициях (“ономатодоксия”, “имяславие”), так и 2) значительному числу исследовательских, вполне академических, опытов изучения “языков” и их элементов. Оба направления восходят к спонтанной атомизирующей практике интерпретации вербального процесса как набора всеобщих “знаков-значений”.

Первый случай (возьмем только “русское имяславие”) следует считать предельным, заостренным, акцентированным выражением “знако-значенческой” установки, доведенной до тирании бытийственного “знака”. В трудах участников “афонского спора” (Булатович, Илларион) и затем “великой тройки” (Флоренский, Булгаков, Лосев), где так или иначе затрагивается вербальный материал, присутствуют все традиционные aberrации “телесного” (вне-коммуникативного) видения слова и смысла. Российские имяславы исповедуют, по сути, основную (усвоенную школьной традицией) концепцию платоновского “Кратила”, избавив ее от авторских сомнений, осторожности и самоиронии и усугубив прямолинейностью и нечувствительностью к естественному вербальному процессу.

В основании всех рассуждений, так же как и в “Кратиле”, лежат несколько “очевидных” положений, составляющих *спонтанную модель* речевого и мыслительного процесса:

Люди говорят одинаковыми для всех словами.

Одинаковость и всепонятность слов позволяет не рассматривать говорящего как “временную” в описываемом процессе говорения.

Слова называют и выражают вещи (являются одновременно именами и характеристиками вещей).

Вещи существуют по умолчанию, как “монады”.

Говорящие передают друг другу мысли о вещах словами.

Ключевым элементом этой спонтанной архаичной модели, описывающей естественный вербальный процесс, является *слово*, или *имя* (часто смешиваемое в русской традиции с “логосом”, что происходит, по-видимому, не без той роли, которую сыграл вводящий в заблуждение перевод канонического текста Ин 1:1 “В начале было *Слово*”).

Приведенная спонтанная модель служит матрицей для всех прочих метафор и обобщений, которые используются в рассуждениях о словоцентричном процессе мысли и говорения. Если слово назначено главным слагаемым (“элементом”, “единицей”) в теоретической схеме, то на него сторонникам спонтанной концепции приходится возлагать всю (или почти всю) ответственность за происходящее в сфере смысла и говорения. Основные следствия спонтанной модели можно обобщить в следующем виде:

1. Деятельность сознания осуществляется именами (у всех авторов “великой тройки” повсеместно).

2. Имя ассоциируется с эйдосом (идеей), то есть сущностью вещи. Если вещь не существует без эйдоса, то она не существует и без имени (“отнимите у стакана имя, и он перестанет быть стаканом”) (у всех авторов повсеместно).

3. Мысль есть то, что говорится. Высказанная мысль есть развернутое имя (у всех авторов повсеместно).

4. Имя имеет магические свойства, магия при этом по умолчанию оправдывается тем, что это божественная магия (у всех авторов повсеместно).

5. Имя обладает энергиями, действующими через фонетико-графические единицы, составляющие имя (онтологический анализ имени “Мариула” у Флоренского).

6. “Вспомогательные слова языка” не важны для онтологической концепции имени (определенно у Булгакова).

7. Имена в совокупности составляют сумму смысла (у всех авторов повсеместно).

Каждое из этих положений не применимо для моделирования естественного вербального процесса, однако выводится из наблюдений над ним и обращено именно к нему. По крайней мере, авторы, претендуя на универсальность концепции, имеют в виду всеобщие

понятия “сознание”, “вещь”, “слово”, “язык”, “смысл”. Чтобы уяснить некорректность предложенной ими диспозиции этих элементов, нужно заметить, что:

1. Деятельность сознания независима от имен. Потребность в вербальных клише (“именах”, “словах”) возникает только в коммуникативном процессе, когда “обладатель сознания” считает необходимым осуществить коммуникативное воздействие на мыслимого адресата. Тогда на помощь приходят сочтенные возможными (в данной коммуникативной ситуации и в данной коммуникативной типологии) знаки – от слова до картинки и жеста, лишь бы воздействие имело нужный коммуниканту результат. Для мыслительного процесса слова и имена не нужны.

2. Слово (имя) не может указывать на определенную идею, а идея – на определенное слово. Процессом “указания” руководит индивидуальное сознание, которое в перспективе личного целеполагания избирает и назначает объекты внимания, группирует и оценивает объекты, формирует их “классы” и “виды” (в том числе признает достаточными или недостаточными уже существующие “классы” и “виды”), вводит критерии и границы и пр. Любое слово, даже если оно относится к так называемым номинативным единицам, само по себе не может указывать на какое-то определенное множество объектов вне применения субъективно мыслимых критериев создания множеств. Ввиду того что в осознанной реальности действует свободное сознание (которое может превращать ее в “знаковую” при необходимости коммуникации), в ней нет и не может быть конечного числа объектов, тем более – связей между ними. Иными словами, между множеством мыслимых объектов (явлений, связей) и множеством слов (имен) нет одно-однозначного соответствия. Любые попытки представить отношения между ними упорядоченными (или могущими быть упорядоченными) не имеют никаких шансов реализоваться.

3. Мысль весьма опосредованно связана с тем, что говорится. Мысль не акциональна, в отличие от коммуникативного действия. Так, мысль открыть дверь может реализоваться в открывание двери (“порождает” открывание двери), однако последнее уже не есть мысль. Подобно этому, желание произвести воздействие (сообщить, потребовать, задать вопрос и пр.) может “породить”, или “перейти в” (если коммуникант все же примет решение действовать) словесный (или, вероятно, какой-то иной по форме, например, жестовый, графический) вопрос или сообщение, или просьбу и пр. Каждый из этих актов будет уже не мыслью, а лишь косвенным проявлением некоего когнитивного состояния, в котором пребывал говорящий, решивший действовать в коммуникативном пространстве. То же самое в случаях констатации фактов, выражения радости, отдания приказа и пр.

Зазор между мыслью и вербальным действием обнаруживает себя еще более отчетливо в случае лжи, когда внутреннее размышление *всецело* не совпадает со сказанным. При этом лгущий коммуникант, говоря не то, что он “думает” (а вернее, думая, что представление “неистинного” положения вещей позволит ему добиться коммуникативных целей), пытается достигнуть, и зачастую достигает, искомого коммуникативного эффекта.

Иными словами, если мысль получила словесную форму, она (вопреки мнению имяславцев) перестала быть мыслью, став *действием в коммуникативном пространстве*, где присутствует адресат, обстоятельства действия, избранные коммуникантом цели и способы действия и пр. Мысль (идея) и вербальные клише настолько далеки друг от друга, что говорить можно “не то, что думаешь”, а думать можно, не говоря.

4. Гипотеза о магических свойствах имени, продвигаемая сторонниками имяславия, имеет древнюю традицию. Как собственно имяславская, так и любая архаическая концепция совершительного слова так или иначе связана с *естественной акциональностью речевого процесса*, возникая из более или менее осознанных интуиций этого свойства коммуникации. Так, стоит лектору всего лишь произнести [“Внимание”], и в аудитории слушающих его студентов произойдут изменения, вызванные сказанным *словом*. Это “чудо” совершается в любой актуальной коммуникации, поскольку смыслом (целевой причиной) любого вербального процесса является воздействие адресанта на сознание мыслимого адресата, и только ради этого говорящий утруждает себя произнесением слов. Однако нужно отметить, что эффект, оказываемый на аудиторию, является *производной не от слова*, а от обширного



комплекса условий, в которых планируется и интерпретируется коммуникативное действие (которое может включать или не включать вербальный компонент).

При этом ссылки на божественные аспекты “словесной магии”, подразумеваемые или эксплицированные оноματοдоксами, способны скорее дискредитировать саму идею святости и божественности, чем подтвердить и без того очевидную акциональность коммуникации. Так, некогда взгляды “древнего имяславца” Евномия (согласно которым некоторые имена тождественны сущностям, а остальные имена говорятся людьми “по примышлению”, *kat'epinoian*, будучи затемненными несовершенством человеческого понимания вещей) встретили у каппадокийских отцов (Василия Кесарийского и Григория Нисского) принципиальное отторжение ввиду грубого насилия над субъектностью любого употребления слова, свойственного вульгарно-платоновскому, знакo-значенческому подходу: *все сказанное*, утверждали каппадокийские авторы, всегда и везде является сказанным “по примышлению”, зависимым от говорящего, не самостоятельным, не самодостаточным вне человека, не “онтологичным”. Подробнее см.: [Вдовиченко 2013, 314–321; Эдельштейн 1985, 156–206]. Иными словами, процесс форматирования сознания словом (божественным или не божественным), де-факто декларируемый в имяславской концепции, должен быть, по их справедливому мнению, теоретически упразднен ввиду недолжного понимания человеческой свободы и отношения с Богом и миром.

5. Попытки найти в звуках и слогах какой-то смысл были подозрительны и смехотворны уже для самого Платона. Он посвятил тем не менее значительную часть “Кратила” фоносемантическим исследованиям, но сделал это от неизбежности: уверенность в том, что в целом “телесном” слове присутствует целый смысл (“правильность”) заставляет теоретика искать части смыслов в “телесных” частях слова (Кратил 424b, 425d) [Платон 1990, 661, 663].

Однако на фоне коммуникативной трактовки значения нет необходимости (неизбежности) так поступать: *вне коммуникативной синтагмы, организуемой говорящим, в слове вовсе отсутствует какое-либо собственное значение* (смысл, “энергия”, “правильность” и пр.). Если единственным источником мысли (смысла, значения, “энергий”, “эйдоса” и пр.) является индивидуальное сознание, которое формирует объект, определяет цели, назначает значение словам и в целом параметрирует ситуацию коммуникации (в которой только и нужны слова, никому не нужные до создаваемой ситуации), то можно более не участвовать в подозрительных опытах обнаружения “энергий” там, где их заведомо не может быть ввиду отсутствия сознания (как, например, в фоносемантических этимологиях платоновского “Кратила” или в случае истолкования звуков и букв, составляющих имя “Мариула” в “Именах” Флоренского [Флоренский 2000, 301]).

6. Деление слов на основные и вспомогательные возникает из спонтанного ассоциирования автономного слова с якобы присущим ему смыслом. В знакo-значенческой трактовке пройти тест на наличие значения могут только те единицы, которые якобы “указывают” на какой-то объект-признак-процесс сами по себе, вне коммуникативного контекста:

Значение имеет всякое слово, нет слов бессмысленных, слово есть смысл. Язык имеет также и вспомогательные слова, смысл которых понятен лишь в контексте речи; оставляя пока в стороне такие слова, чтобы не усложнить вопроса, мы должны сказать, что всякое слово означает идею, и сколько слов, столько же и идей с их бесконечными оттенками и переливами [Булгаков 1953, 7].

В приведенном тексте сам автор, вероятно, назвал бы “вспомогательными” слова “всякое”, “нет” (?), “есть” (?), “также”, “и”, “которых”, “лишь”, “в”, смысл которых никак нельзя понять вне “контекста речи”.

Однако в действительности “бесконечные идеи”, их “оттенки и переливы”, которыми не может не восхищаться любой внимательный наблюдатель (как это делает и Булгаков), возникают не из слов, которых гораздо меньше, чем “переливов”, а из индивидуального сознательного процесса, который гораздо более разнообразен, вариативен и не ограничен количеством “слов-идей”. Для индивида, решившего действовать в коммуникативном пространстве, все слова принципиально едины в своем функционале: способствовать

тому, чтобы *вызывать в сознании адресата такие изменения, которые приняты в данном коммуникативном сообществе в типологических условиях*, то есть служить приблизительной разметкой для понимания внутреннего когнитивного процесса говорящего, который производит воздействие в данной ситуации. Поэтому тот, кто сказал слово [“бог”] в актуальной коммуникации, делает принципиально то же самое, что и сказавший слово [“он”], [“лишь”], [“этот”], [“чтобы”] и пр. Все эти вербальные клише необходимы говорящему для помысленного воздействия в данных условиях и более ни к чему не приспособлены. С этой точки зрения все вербальные клише (“слова” и их сочетания) можно считать как “полноценными”, так и “вспомогательными”, поскольку вне деятельности нуждающегося в них говорящего сами они ни на что не могут указывать или означать.

7. Наконец, архаичная концепция “суммы смыслов слов”, используемая ономотодоксами для интерпретации осмысленного высказывания, не может быть признана адекватной, поскольку в естественном вербальном процессе понимаются не слова, а коммуникативные действия (которые, например, могут совершаться и без слов). Классический пример применения “смысловской” концепции дает рассуждение Булгакова:

Беру фразу: море сверкает ослепительно. Она состоит из трех слов, которые входят в совокупности в один смысл. Но они только потому и входят в этот смысл, что они и в отдельности суть слова, каждое имеет свой собственный смысл, чем, значит, выражает свою идею: идею моря, идею сверкания, идею ослепительности [Булгаков 1953, 36].

Как видно, слова воспринимаются автором в качестве готовых модулей (смыслосодержащих единиц). Фраза, согласно позиции Булгакова, имеет собственное независимое существование, отражает реальность, представляет собой “ничью правильную мысль”.

Доверившись “словам-идеям-вещам”, автор оказался абсолютно нечувствителен к всецело субъектным причинам порождения любого, в том числе этого, высказывания, которое вне конкретно мыслимых условий, определяемых позицией говорящего, не может быть ни истинным, ни ложным, ни правильным, ни ошибочным, ни модальным, ни пропозитивным, ни имеющим смысл, ни лишенным смысла, ни обладающим эмоцией, ни лишенным ее, и пр. Иными словами, автор не заметил, что такой вербальный факт (“море сверкает ослепительно”), в приведенном автором статусе и параметрах, не может существовать в реальности, является искусственным и нежизнеспособным порождением ошибочной концептуальной схемы.

В целом нереалистичность (неадекватность реальности) спонтанной знаково-значенческой модели состоит в игнорировании того, что словообразование в вербальном материале имеет исключительно коммуникативную природу. Оно возникает не в тот момент, когда “ничьи” слова отражают (называют) “факт” реальности, а когда конкретный говорящий производит запланированное воздействие на адресата. Смысл, или целевая причина порождения вербального высказывания, состоит в воздействии, которое зачем-то нужно коммуниканту. “Фактов” в реальности слишком много, чтобы говорящий позволял себе играть в бессмысленную игру “назови факт реальности”, подобно той, что приведена у Булгакова. Зато воздействие в рамках параметрированной ситуации вполне доступно конкретному сознанию, оно вписывается в личное целеполагание, отвечает избранным характеристикам момента коммуникации. Фраза не может возникнуть сама собой, а возникает лишь вследствие того, что конкретный разумный индивид принял решение вступить в коммуникацию, выделил объекты воздействия (адресаты), признал данные вербальные клише эффективными и данную коммуникативную типологию – доступной для адресата, сфокусировал внимание на акте высказывания и на избранных назначенных объектах (создал факт высказывания и, возможно, факт реальности) и пр. Весь этот обширный комплекс интерпретируется в рамках процедуры естественной коммуникации как порождающим, так и воспринимающим коммуникативное событие.

В этой реалистичной перспективе становится понятным, что интерпретация вербального процесса, произведенная платоником (например, Булгаковым), начинается с середины пути и заканчивается на промежуточной стадии, не достигая конечного пункта: интер-

претируемый объект не охвачен взглядом теоретика целиком – от замысла вербального действия до порождения речи в финальной форме и интерпретации когнитивных процессов говорящего. В поле внимания интерпретатора оказываются только спонтанно выделенные единицы (слова), которые в принятой “знако-значенческой” усеченной системе координат принуждаются иметь значение, формировать смысл высказывания, быть носителями идей, будучи в действительности вне говорящего и вне мыслимой им коммуникативной ситуации пустыми, бескачественными, неопределенными и бессмысленными. Подлинные причины появления смысла в бессмысленном (фактор индивидуального сознания, свобода когнитивных процедур и пр.) остаются вне концептуального поля, определенного изначальной моделью, выносятся за пределы формулы, описывающей вербальный процесс.

Спонтанная модель, а также ее прямые следствия (за исключением пп. 4 и 5, см. выше) образуют фундамент и для многих вполне академических опытов интерпретации естественного вербального процесса и его элементов. В своей концептуальной сердцевине эти опыты сохраняют приверженность древнему платоновскому “словомыслию”, “знако-значенчеству”. В установке видеть в “телесном” знаке значение и для любого значения предполагать (искать) “телесный” знак как раз и состоит “лингвистическое имяславление”, представленное не только философско-богословской, но и филологической (лингвистической) версиями.

Вольный или невольный (сознательный или неосознанный) последователь условного Платона уверен, что у любого значения есть предметное выражение, или “имя”, материализованное в звуке, морфеме, корне, слове, сочетании слов и, наконец, в предложении. И наоборот, у любого телесного знака (“имени”) есть свое значение. На этой презумпции воздвигнуты как глобальные лингвистические концепты, такие как “язык”, “эволюция языковой системы”, “взаимодействие языков”, так и более частные опыты построения теории в специализированных сегментах языкознания, таких как этимология, семантика, морфология и пр.

Так, несмотря на то, что оперативный арсенал говорящего состоит из коммуникативных клише и ситуаций их использования, то есть из известной говорящему коммуникативной типологии, в которой никоим образом не присутствует номенклатура привычных для грамматиста понятий и терминов (“падежей”, “склонений”, “корней”, “суффиксов”, “гнезд” и пр.), тем не менее глубоко условная мнемотехническая схема “язык” зачастую узурпирует не подобающий ей статус, становится избыточно безусловным и избыточно онтологическим понятием, едва ли не “вещью”. Так, грамматический “язык”, некогда возникший как вспомогательный инструмент для обеспечения перехода с одной коммуникативной типологии на другую, более знакомую грамматисту (такой “переходник” необходим по преимуществу иностранцам), может всерьез, несмотря на свою вторичность и вспомогательность, рассматриваться в академических исследованиях как инструмент общения (механизм, система), воссоздаваться в конкретных грамматических и лексических формах (“грамматика плюс словарь”), изучаться как источник сведений о нации, о сознании каждого из ее представителей, о внутреннем устройении и организации социолингвистических сообществ, об интеллектуальном и эмоциональном профиле носителей и пр.

Эта и подобные aberrации в конечном счете являются следствиями неправомерной онтологизации единиц, признания знаков реально существующими смысло-формальными атомами, автономными носителями значений. Только из таких стабильных и твердых “блоков” можно собрать мнимо-работоспособный инструмент-механизм-систему или предъявить его функциональные части.

В то же время очевидная утилитарность выделения знаков, признание их неспособности производить автономное смыслообразование, их несамостоятельность вне конкретного коммуникативного действия служат хорошим поводом вспомнить об условности исследовательских моделей и концептов, создаваемых для удобного ситуативного “схватывания” моделируемой реальности в выделенных сегментах. Так, несмотря на мнемотехническую и лингводидактическую пользу “языка” как систематизированного набора знаков (то есть несмотря на локальное торжество атомизирующего подхода), “языку” невозможно отказать в полной бессмысленности и онтологической непригодности, ввиду того что его принципиальная всеобщность означает столь же принципиальное отсутствие личного начала,